

Его университеты

Когда в июне 1918 года Махно с чемоданом тамбовских булок появился в Москве, ему еще не исполнилось тридцати лет. За плечами у молодого человека был тот специфический опыт жизни, который, с известной долей условности, можно назвать биографией настоящего революционера. Он рано почувствовал несправедливость, трагический раскол общества на богатых и бедных, рано был втянут в революционную деятельность, рано попал в тюрьму. Как настоящий революционер, свои лучшие годы он провел в заключении. Здесь, в противодействии тюремной администрации, закалился и выковался его характер. Здесь, отсеченный от живой народной жизни, он приемлет от старших товарищей право говорить от имени народа. Впечатления его крайне ограничены, опыт односторонен, чувства обеднены. В душе довлеют упрямая ненависть и романтическое предвосхищение революции, того рода мечтательность, которую С. Л. Франк – правда, применительно к интеллигенции – называл «болезнью»: «Это настроение мечтательности и его отражение на нравственной воле, эта нравственная несерьезность, презрение и равнодушие к настоящему и внутренне лживая, неосновательная идеализация будущего – это духовное состояние и есть ведь последний корень той нравственной болезни, которую мы называем революционностью и которая загубила русскую жизнь» (81, 73).

Нелепо, конечно, ждать, что семнадцатилетний подмастерье, каким был Махно в начале своего боевого пути, стал бы размышлять подобным образом. Слова эти могли быть написаны только интеллигентом и только после «ужасающего потрясения» революции. Махно же был чернорабочим, эксплуатируемым и униженным существом, личное недовольство которого революционные теории возводили в ранг исторического приговора «старому миру». При других обстоятельствах «романтизм» юноши мог бы обнаружиться как-нибудь иначе – скажем, в бегстве за счастьем в Америку. Но он рос на Украине, и совсем под боком у него была романтика иного рода – романтика темного и героического революционного подполья.

Историкам о детстве Махно известно совсем мало. Все без исключения красочные подробности, изложенные в полюбившихся нашим книгоиздателям «Мемуарах белогвардейца» Николая Герасименко, относятся к ведению исторической мифологии и не содержат ни грама истины. Махно никогда не служил помощником приказчика в галантерейном магазине в Мариуполе и никогда не выказывал свой дикий нрав, мстя за побои хозяину, не обрезал пуговицы на костюмах и не подливал касторовое масло в чайник с чаем. Не был он и типографским рабочим, не обучался грамоте у анархиста Волина и никогда не служил народным учителем «в одном из сел Мариупольского уезда» (15, 5). Все это, как и недвусмысленный намек Герасименко на сотрудничество Махно с полицией, – чистая, беспримесная фантазия, и остается только гадать, сам ли автор, уловив политическую конъюнктуру, стал ее творцом, или же он ограничился изложением побасенок, которые когда-то от кого-то слышал. Примечательно, что именно из популярных «записок» Герасименко, по-видимому, черпал свои познания о махновщине Алексей Толстой.

Писатель вслед за Герасименко утверждает, например, что Махно отбывал царскую каторгу в Акатуе (что неверно), и для пущей убедительности вкладывает ему в уста слова:

«– На царской каторге меня поднимали за голову, за ноги, бросали на кирпичный пол. Так выковываются народные вожди» (76, 165).

Герасименко же подкрепляет подлинность своего рассказа воспоминаниями одного из махновских атаманов, бывшего матроса-потемкинца Чалого, который будто бы отбывал вместе с Махно каторжный срок в Сибири. На самом деле Чалый – фигура не более реальная, чем матрос Чугай у Алексея Толстого, но на этой фантастической фигуре все-таки лежит отсвет исторической правды. При этом правдой оказывается именно то, что кажется наименее правдоподобным: среди махновских командиров действительно был матрос с броненосца «Потемкин» – батько Дерменджи. Более близких к истине сведений о молодых годах Махно в книжке Герасименко, увы, нет.

Поскольку никаких исторических исследований и даже просто документов, посвященных детству Махно, не существует, нам остается лишь внимательно перечитать то, что Махно сам написал о своей семье и ранних годах своей жизни (сохранились его «Записки», бегло написанные в Румынии и Польше, и более подробная автобиография, которая под названием «Мятежная юность» была переиздана в Париже в 2006 году). Увы, нам не избежать длинных цитат. Но зато не придется делать лживый вид, будто мы исследовали проблему самостоятельно. Итак, в путь! Поверьте, нам представляется редкая возможность в подробностях проследить становление маленького бунтаря.

...Нестор Махно был пятым и последним ребенком в семье бывшего крепостного крестьянина Ивана Родионовича Михненко, который после реформы служил у помещика Шабельского конюхом и скотником в деревне Шагаровой. Его фамилию, происходящую от имени «Михаил», в документах писали по-разному – когда Михненко, когда Махненко, а когда и Махно. Ко времени рождения младшего сына (это случилось 27 октября 1888 года) Иван Родионович перебрался с семьей в ближнее село Гуляй-Поле,^[4] что славилось своими ярмарками, выгодно устроился кучером к богатому заводчику Марку Кернеру, но вскоре умер, когда Нестору не исполнилось еще и года. Единственное, что отец успел сделать для него, – это записать дату рождения ребенка годом позже. Так делали, чтоб не отдавать в армию совсем уж юных сыновей и подольше держать их при хозяйстве. Позже этот «приписанный» год спас Махно жизнь – ибо суд, разбиравший его дело, считал его несовершеннолетним. Но тогда, в 1889-м, после смерти Ивана Родионовича, семья очутилась поистине в бедственном положении. На руках вдовы Михненко осталось пятеро братьев, мал мала меньше, а у семьи в Гуляй-Поле не было даже дома: по бедности строительство велось медленно, и будущее семейное пристанище представляло собой голые стены без крыши. Мать Махно, Евдокия Матвеевна, была русская – чем и объясняется тот факт, что Махно, рожденный на Украине, лучше говорил по-русски, чем на малороссийском наречии.

Гуляй-Поле представляло собой в ту пору большое селение тысячи в две дворов. Мемуаристка Наталья Сухогорская, случайно оказавшаяся в Гуляй-Поле в самый разгар махновщины, пишет: «При мне там было 3 гимназии, высшее начальное училище, с десятков приходских школ, 2 церкви, синагога, бани, почтовое отделение, много мельниц и

маслобоек, кинематограф. Население – в подавляющем большинстве украинцы. Великороссов в Гуляй-Поле мало – больше учителя и служащие. Наоборот, очень много евреев-купцов и ремесленников, очень дружно живущих с украинским селянством...» (74, 37).

«...Смутно припоминаю свое раннее детство, лишенное обычных для ребенка игра и веселья, – пишет в своих „Записках“ Махно, – омраченное сильной нуждой и лишениями, в каких пребывала наша семья, пока не поднялись на ноги мальчуганы и не стали сами на себя зарабатывать. На восьмом году мать отдала меня во 2-ю гуляйпольскую начальную школу. Школьные премудрости давались мне легко... Учитель меня хвалил, а мать была довольна моими успехами. Так было в начале учебного года. Когда же настала зима и река замерзла, я по приглашению своих товарищей стал часто, вместо класса, попадать на реку – на лед. Катание на коньках с сотней таких же шалунов, как и я, меня так увлекало, что я по целым дням не появлялся в школе. Мать была уверена, что я по утрам с книгами отправляюсь в школу и вечером возвращаюсь оттуда же. В действительности же я каждый день уходил только на речку и, набегавшись, накатавшись там вдоволь с товарищами, проголодавшись, – возвращался домой.

Такое прилежное мое речное занятие продолжалось до самой масленицы. А в эту неделю, в один памятный для меня день, бегая по речке с одним из своих друзей, я провалился на льду, весь измок и чуть было не утонул. Помню, когда сбежались люди и вытащили нас обоих, я, боясь идти домой, побежал к родному дяде. По дороге я весь обмерз. Это вселило дяде боязнь за мое здоровье, и он сейчас же... сообщил обо всем случившемся моей матери.

Когда явилась встревоженная мать, я, растертый спиртом, сидел уже на печке.

Узнав, в чем дело, она разложила меня через скамью и стала лечить куском толстой скрученной веревки. Помню, долго после этого я не мог садиться, как следует, за парту, но помню также, что с этих пор я стал прилежным учеником» (55, 20).

«С наступлением лета, – продолжает наш герой, – я нанялся погонщиком волов к хозяину по фамилии Янсен. Платили мне по 25 копеек в день, то есть полтора рубля в неделю. Каждую субботу, получив эту сумму, я, преисполненный радости, почти бегом бежал 7 км домой, зажав в кулаке деньги. Прибежав, я немедленно отдавал деньги матери и был очень счастлив, когда она их брала... Мое детское сердце наполнялось радостью. Помню, однажды, я забыл напоить своих волов, поэтому по дороге они вдруг повернули и потащили повозку, груженную снопами, к водопою. В этот момент проезжал на бричке помощник управляющего. Это был грубиян, который получил у нас кличку „мухоед“ за то, что держал рот всегда открытым. Он ударил меня два раза кнутом. От ярости я готов был убежать домой, и только воспоминание о субботе и мысль о той радости, которую я доставлю матери, отдавая ей деньги, не позволили мне так поступить. Так я проработал все лето и заработал двадцать рублей. Это был мой первый заработок» (50, 14-15).

Наступила осень. Мать очень хотела, чтобы младший сын прошел полный курс начальной школы, раз уж старшим братьям не суждено было доучиться, и отдала Нестора во второй класс: «...Вскоре я стал лучшим учеником по математике и особенно по чтению. Будущее

мне вновь улыбалось. Но второй класс оказался для меня последним. Положение нашей семьи стало настолько тяжелым, что, проработав все лето поденщиком у хозяина, я был вынужден остаться и на зиму... Именно в это время я начал испытывать гнев, злобу и даже ненависть по отношению к хозяину и, в особенности, к его детям: этим молодым бездельникам, которые часто проходили мимо меня, свежие и бодрые, пресыщенные, хорошо одетые, надушенные, тогда как я, грязный, в лохмотьях, босоногий и вонявший навозом, менял подстилку телятам. Несправедливость такого положения вещей бросалась мне в глаза. Единственное, что меня успокаивало тогда, было довольно детское рассуждение, что это в порядке вещей: они были „господами“, а я работником, которому платили за неудобство от вони навоза.

Так прошло два года, я продвинулся в карьере, поменяв телят на коней. Там все стало еще более впечатляющим. Часто я видел, как сыновья хозяина грубо били конюхов, в особенности за то, что кони были „плохо почищены“. Но все еще в темных глубинах своего разума я трусливо принимал существующее положение вещей...» (50, 16–17).

«Прошел еще год, наступил 1902, и мне исполнилось тринадцать лет, – продолжает Махно. – Конюхами в то время были, главным образом, люди сознательные, со здравым рассудком. Из-за моего юного возраста ко мне они относились внимательно и очень меня жалели. Однажды летом, когда мы все как раз обедали, кроме старшего конюха, подрезавшего лошадям хвосты, два хозяйских сына вошли в конюшню в сопровождении управляющего и... начали спорить со вторым конюхом. Вначале они разговаривали вежливо, потом тон изменился, они стали кричать и оскорблять его. Затем они бросились на него и стали грубо избивать. Все остальные конюхи стояли полумертвые от страха перед „гневом хозяев“. Я же выскочил из комнаты, пронесся через двор, влетел в конюшню и закричал, обращаясь к старшему конюху: „Батько Иван! Хозяева бьют Филиппа на кухне!“ Батько Иван как очумелый выскочил на двор, в фартуке, с ножницами в руках. Вместе со мной, не проронив ни слова, он пересек двор и ворвался на кухню... Увидев, что его помощника избивают, он налетел изо всех сил на одного из „господских сынков“, бросился на него как лев и одним ударом повалил на землю. Он ударил его еще несколько раз ногой, затем схватил управляющего и стал дубасить его по-мужицки под ребра. Оба хозяйских сынка вместе с помощником управляющего удрали, выломав две оконные рамы на кухне. Между тем вокруг собрались другие батраки. Все поденщики, бросив работу, прибежали на помощь конюхам.

Со всех сторон раздавались крики: „До каких пор хозяева будут издеваться над нами?“ Все встали перед крыльцом господского дома и потребовали выплатить заработанные деньги, заявив, что больше оставаться здесь не будут. Старый хозяин испугался и сам вышел на крыльцо, пытаясь нас уговорить. Он просил конюхов не бросать работу и простить глупость своих молодых наследников. Тогда конюхи решили остаться: они могли чувствовать себя удовлетворенными, так как по крайней мере в этом имении их поступок положил конец раз и навсегда всяким попыткам решать споры при помощи побоев.

Что касается меня, хотя я был еще ребенком, этот инцидент произвел на меня неизгладимое впечатление. Впервые я услышал бунтарские слова, с которыми батько Иван обратился ко мне после этого происшествия: „Никто здесь не должен соглашаться с позором побоев... И если когда-либо, мой маленький Нестор, кто-то из хозяев попробует тебя ударить, хватай

первые попавшиеся под руку вилы и проткни его!“ Для моего возраста и для моей детской души эти слова казались ужасными, но стихийно... я чувствовал весь их подлинный смысл и справедливость. Впоследствии не один раз, когда я складывал солому в конюшне и видел кого-нибудь из хозяев, я представлял себе, что он собирается меня ударить, а я закалываю его вилами на месте» (50, 17-18).

Что и говорить, признание красноречивое!

В пятнадцать лет жизнь батрака для Махно закончилась: ему пора было обзавестись какой-нибудь «настоящей» специальностью, и он, по совету братьев, поступил учеником на литейный завод Марка Кернера, где один из лучших мастеров-литейщиков по фамилии Великий обучил его искусству литья колес для сеялок. Жизнь семьи шла своим чередом. После того как в 1904 году один из братьев, Савелий, был мобилизован на Русско-японскую войну, а Карп и Емельян обзавелись семьями и отделились, в материнском доме осталось только двое подростков – Григорий да Нестор. Григорий нанялся чернорабочим, а Нестор, проработав некоторое время в красильной мастерской Брука, в конце концов бросил производство и стал возделывать огород – четыре гектара земли, которую больше некому было обрабатывать.

Но тут подоспел 1905 год, и жизнь Махно круто переменилась. Его потянуло в революцию.

Революция всколыхнула Россию до дна. Теперь уже не только стратегически мыслящий большевистский ЦК и таинственная Боевая организация эсеров направляли карающие удары по самодержавию. Пламя полыхнуло вширь, по всей необъятной стране.

В собрании документов по истории первой русской революции, быть может, самыми потрясающими являются те, которые рассказывают о том, как очертя голову кидались в «беспорядки» совершенно частные люди – какие-то учителя, гимназисты, беспартийные рабочие. Повинуясь какой-то сладостной тяге к разрушению ненавистного окружающего, они вдруг начинали ораторствовать на раскаленных докрасна митингах, а то и снаряжать бомбы... Здесь уже политический смысл просматривался с трудом, мотивы были иные: ненависть, нетерпение, обида за вечное унижение, за нелепо складывающуюся жизнь, а то и корысть. Не замедлили выявиться издержки методов, которые выглядели вполне приемлемыми для профессиональных революционеров, но в руках масс становились опасным оружием. Профессор А. Келли разглядел это из своего кембриджского далека и тонко отметил: «Массы, не оглядываясь на положительных героев, осуществили свою революцию. Отличия идеалистов от головорезов враз оказались размытыми в атмосфере насилия, когда в революционные ряды влились двусмысленные фигуры, реализуя свои таланты в качестве террористов, провокаторов или членов большевистских групп экспроприации» (30, 56). Воистину, по 1905 году многое можно было бы предсказать о 1917-м!

Деятельность гуляйпольской группы анархистов, в которую вступил шестнадцатилетний Махно, вполне вписывается в этот процесс «обмирщения» революции. Еще работая подручным в красильной мастерской Брука, он, как «мальчик-с-пальчик», был принят в театральный кружок при заводе Кернера, чтобы «смешить публику»[5] (6,191). В кружке он

и познакомился с анархистами. Это были молодые рабочие и крестьяне Гуляй-Поля. Их решимость оказала гипнотизирующее действие на Махно, и он «немедленно присоединился» к ним.

«...Военное положение, введенное по всей стране, полевые суды, карательные отряды, расстрелы – все это сделало борьбу нашей группы очень трудной, – сообщает Махно о своем первом революционном опыте. – Несмотря на это, один раз в неделю, иногда чаще, мы организовывали пропагандистские сходки для ограниченного числа людей, от десяти до пятнадцати человек. Эти ночи, так как собирались мы, главным образом, ночью, были для меня полны света и радости. Зимой мы собирались в чьем-нибудь доме, а летом – в поле, возле пруда, на зеленой траве или, время от времени, на прогулках. Не обладая большими знаниями, мы обсуждали вопросы, которые нас интересовали.

Самым выдающимся товарищем в группе был Прокоп Семенюта. Родом из крестьян, он работал тогда слесарем на заводе. Он был наиболее знающим из нас и одним из первых в Гуляй-Поле, кто серьезно изучал анархизм. После полугода практики в маленьком кружке по изучению анархизма, усвоив основы учения, я начал активную борьбу и перешел в боевую анархо-коммунистическую группу. Основателем этой группы был, главным образом, товарищ Владимир Антони. Его родители, чехи по происхождению, эмигрировавшие из Австрии, были рабочими. Он также работал токарем (и изготавливал для группы бомбы. – В. Г.)» (50, 20).

Ученым анархизмом в группе, в общем, не пахло, и ее юные участники вполне сошли бы за обычных грабителей, если бы не романтический стиль их предприятий: черные маски, накладные бороды, требование у богачей денег «на голодающих».

Первое нападение было совершено 5 сентября 1906 года на дом гуляйпольского торговца Плещинера. К нему домой явилось трое с лицами, «вымазанными сажей» (60, 71). Угрожая револьверами и бомбой, они потребовали денег. Плещинер дал им 163 рубля и золотые кольца. Они этим не удовлетворились и потребовали еще золотые часы, которые Плещинер тотчас отдал.

«...10 октября последовало ограбление торговца Брука в том же селе Гуляй-Поле. Участвовало в ограблении 4 лица. Погрозив револьверами, экспроприаторы потребовали „на голодающих“ 500 рублей. Забрав здесь 151 руб., они ушли. Лица были закрыты бумажными масками» (60, 71–72).

Третьему нападению подвергся гуляйпольский Крез – промышленник и купец Марк Кернер, на заводе которого Махно работал. Трое участников с вымазанными грязью лицами ворвались в дом, но тут, к своей неожиданности, натолкнулись на рабочего-электротехника, которого втолкнули в кабинет Брука и заперли. Обыскав дом, они обнаружили 425 рублей и слиток серебра. Тем временем жена Брука послала горничную на галерею, чтобы та подняла тревогу. На галерее ее сразу перехватил четвертый «экспроприатор» и отвел на кухню, где оказался еще и пятый. Сам Кернер заявил полиции, что в ограблении его дома принимало участие никак не меньше семи человек, причем якобы они так волновались, что руки у них дрожали. Через два дня Кернер получил письмо от некоей «боевой дружины», в которой та,

выразив сожаление, что забрала у него мало денег, предупреждала, что если он будет столь же усердно помогать полиции, как и раньше, дом его будет взорван.

Наконец, 19 августа 1907 года между станцией Гуляй-Поле и селом была ограблена почта: «При этом были убиты почтальон и городской, везший деньги, и почтовая лошадь. Ямщик оказался жив и рассказал, что, когда почтовая телега выбиралась из оврага в гору по направлению к селу Гуляй-Поле, из оврага посыпались выстрелы. Он погнал лошадей. Выстрелы продолжались. Вскоре одна лошадь пала. Ямщик отпряг живую лошадь и поскакал на ней в село. По осмотре почта оказалась целой...» (60, 72).

Безобразия накапливались, но только после убийства гуляйпольского пристава Лепетченко «анархической группой» всерьез занялась полиция. Новый пристав Караченцев, пытаясь выяснить имена преступников, внедрил в группу своего агента Кушнира, но тот быстро подпал под подозрение и был убит. В сентябре 1907 года на всякий случай были арестованы Махно, а через некоторое время и добивавшийся с ним свидания Владимир Антони. Однако доказать вину того и другого на этот раз не удалось.

«...Позже я узнал, – пишет Махно, – что начальник полиции, некий Караченцев, заявил нашему начальнику почты: „Я никогда еще не видел людей такой закалки. У меня много доказательств, чтобы обвинить их в принадлежности к числу опасных анархистов, но... я не смог ничего от них добиться. Махно, когда на него смотришь, выглядит глупым мужиком, но я знаю, что именно он стрелял в жандармов 26 августа 1907 года. Так вот, несмотря на все мои усилия, я не смог добиться от него никакого признания... Что касается другого, Антони, когда я его допрашивал, подвергнув беспощадным побоям, он набрался наглости заявить мне: Ты, сволочь, никогда из меня ничего не выбьешь! А я ведь ему показал, что такое 'качели'!“» (50, 22-23).

Махно был отпущен из тюрьмы через четыре месяца, а Владимиру Антони было предложено выехать в Австрию под тем предлогом, что он австрийский подданный. Но он только покинул пределы Екатеринославской губернии и продолжал поддерживать связь с группой. Оказавшись на свободе в начале 1908-го, Махно вернулся в Гуляй-Поле, где под руководством Александра Семенюты продолжал действовать анархистский кружок. Власти чувствовали, что опасность таится у них под боком, и в Гуляй-Поле было создано охранное отделение, расквартирован отряд казаков. Однажды, когда группа собралась в доме некоего Левадного, дом был окружен казаками и обстрелян. Большинству заговорщиков удалось бежать, кроме Прокопа Семенюты, убитого на месте. Его брат Александр и сам Левадный были ранены, но смогли убежать. Александр Семенюта не смог даже прийти на похороны брата из опасения быть схваченным, но поклялся жестоко отомстить убийцам.

Весной 1908 года произошел целый ряд новых ограблений. 10 апреля в колонии Богодаровске в своем доме был ограблен торговец Левин. Среди принимавших участие в налете Махно не было. 13 мая произошло нападение на дом гуляйпольского купца Шиндлера, дочь которого была ранена пулей. 9 июля в Новоселовке напали на казенную винную лавку, сиделец которой был убит. Встревоженный поступающими из Гуляй-Поля сведениями, туда решил приехать сам губернатор Екатеринославской губернии. По-видимому, он не подозревал, что подвергает себя смертельной опасности, ибо, как только

известие о приезде губернатора достигло гуляйпольских анархистов, они незамедлительно стали готовить покушение на него. Однако покушение сорвалось из-за того, что губернатора бдительно охраняли солдаты. Раздосадованные срывом такой важной операции, боевики решили взорвать отделение гуляйпольской охранки. Для этого Александр Семенюта специально ездил в Екатеринослав, откуда привез девяти- и четырехфунтовые бомбы. Взрыв был намечен на 26 августа.

Тем временем пристав Караченцев решил выследить ту часть группы, которая, выехав из Гуляй-Поля, подалась в Екатеринослав. Одевшись под анархиста, он самолично выследил нескольких боевиков на квартире в пригороде Екатеринослава, сумел арестовать их и добиться «откровенных показаний» (60, 75). Быстро нащупав «слабину» некоторых участников, следствие неустанно добивалось от них все новых и новых сведений. Хшива опознал Горелика и Ольхова и уличал их в ограблении Левина. Алтгаузен уличил Махно и Чернявского, Левадный – Махно, Чернявского, Ольхова и Горелика. Зуйченко тоже топил Махно и валил на него ответственность за убийства. Вскоре явились и новые разоблачители. Родной брат участника группы Ивана Шевченко доложил следствию, что брат прятал у него во дворе бомбы, что у него собиралась для совещаний вся группа и он своими глазами видел в руках у Владимира Антони и своего брата Ивана большие деньги...

Ничего не подозревавший Махно накануне взрыва охранного отделения в Гуляй-Поле был арестован у себя дома, закован в наручники и препровожден в местную тюрьму. Оттуда его перевезли в Александрова (Запорожье). Пока шло следствие, Махно провел время в тюрьме Александровска. Это учреждение, где ему впервые удалось узнать голод и побои, он возненавидел на всю жизнь и неоднократно потом предпринимал попытки стереть тюрьму с лица земли. На следствии он держался крепко и, «несмотря на все обличения, виновным себя не признал» (60, 75). Сохранилась записка, отобранная у Махно во время предварительного заключения, из которой ясно, что замышлялся побег: «Тов(арищи), пишите, на чем остановились: буд(ем) ли что-нибудь предпринимать? Сила вся у вас, у нас только четыре человека. Да или нет – и назначим день. До свидания, привет всем» (60, 76). Побег был замыслен давно, когда гуляйпольские террористы еще все сидели в одной камере. Но полиция перехитрила их, разбив на четверки, и по очереди стала переправлять в Екатеринославскую тюрьму. Несмотря на это, даже этим «четверкам» удалось договориться между собой и «волей» о том, чтобы их вырвали из рук конвоя при отправлении в Екатеринослав. Руководил подготовкой побега остававшийся на свободе Александр Семенюта. Только стечение ряда случайных обстоятельств (как, например, опоздание поезда) и то, что провокатор Алтгаузен, узнав в толпе на вокзале Александра Семенюта, поднял истошный крик, провалило этот дерзкий замысел.

В марте 1910 года Махно предстал перед Екатеринославским военно-окружным судом. Несмотря на то, что арестованные мотивировали вступление в группу и свою деятельность политикой, идеей «народной свободы», в обвинительном заключении им вменялась в вину чистая уголовщина, а именно: организация «преступного сообщества, поставившего заведомо для них целью своей деятельности открытое, путем угроз, насилия и посягательства на жизнь и личную безопасность похищение имущества правительственных учреждений и частных состоятельных лиц» (60, 77).

Всех участников, кроме умершего в тюрьме от тифа Левадного и некоего Хшивы, повешенного по приговору военного суда в качестве главного обвиняемого в убийстве пристава Лепетченко и провокатора Кушнера, приговорили в 1910 году к разным срокам каторги. Махно, как один из главных обвиняемых, был посажен в камеру смертников, где просидел 52 дня. Преступления, вменяемые ему в вину (организация преступного сообщества, хранение револьверов и бомб, изготовление бомб, участие в преступных сходках и экспроприациях у Брука, Кернера и Гуревича), в совокупности подлежали наказанию смертной казнью. Но дело Махно следовало разбирать особо – поскольку он был несовершеннолетним в момент совершенных им злодеяний (вот когда пригодилась выправленная отцом метрика!). Впрочем, всем участникам группы наказание, как мы уже говорили, было смягчено.

«Начиная с 26 марта 1910, – пишет Махно, – нас с товарищами держали в камере смертников. Эта камера с низким сводчатым потолком, шириной в 2 метра и длиной в 5, и еще три таких же находились в подвале Екатеринославской тюрьмы. Стены этих камер были покрыты надписями, оставленными известными и неизвестными революционерами, которые в тревоге ожидали там предначертанного им часа... Заключенные в этих камерах чувствовали себя наполовину в могиле. У нас было такое ощущение, как будто мы судорожно цепляемся за край земли и не можем удержаться. Тогда мы думали о всех наших товарищах, оставшихся на свободе, не потерявших веру и надежду осуществить еще что-то доброе в борьбе за лучшую жизнь. Принесши себя в жертву во имя будущего, мы испытывали по отношению к ним особое чувство искренней и глубокой нежности» (50, 35).

Камера смертников была тяжким испытанием. Ее обитатели, обреченные на гибель, сдруживались быстро и накрепко, словно понимая, что времени у них больше нет. Они вместе мечтали о революции и просили товарищей – если тем суждено будет остаться в живых – отомстить за них палачам. Потом открывалась тяжелая железная дверь, и заключенный, чью фамилию выкрикнули на этот раз, торопливо прощаясь с оставшимися, уходил, чтобы не вернуться уже никогда.

«...Однажды мое терпение лопнуло, – пишет Махно, – и я отправил прокурору письмо с протестом, спрашивая, почему меня не отправляют на виселицу. В ответ через начальника тюрьмы я узнал, что, принимая во внимание мой юный возраст, казнь мне была заменена на каторжные работы, но он не сказал, на сколько лет. В тот же день меня вместе с последним товарищем, Орловым, перевели в здание, отведенное для каторжников... Оттуда я написал матери, в ответ она мне сообщила, что ходила к губернатору (он скреплял своей подписью окончательные смертные приговоры) и узнала там, что из-за моего юного возраста казнь мне заменили на пожизненную каторгу. Так на смену затянувшемуся кошмару ожидания повешения пришел кошмар каторги...» (50, 42).

По приговору Махно получил 20 лет каторги, которые ему предстояло отбывать в Бутырской тюрьме в Москве. Тем временем политический вдохновитель группы Александр Семенюта, добравшись до Бельгии, прислал оттуда в Гуляй-Поле издевательскую записку: «Село Гуляй-Поле, Екатеринославской губернии, волостное правление, получить Караченцеву, черту рябому. Господин пристав, я слышал, что вы меня очень разыскиваете и желаете видеть. Если это верно, то прошу пожаловать в Бельгию, здесь свобода слова и можно поговорить.

Александр Семенюта, анархист Гуляй-Поля» (60, 77).

Пока Семенюта наслаждался свободой в Бельгии, в августе 1911-го Махно перевезли из Екатеринослава в Москву и на долгие годы замуровали в Бутырках.

“«В тюрьме Екатеринослава мы оставались пять с половиной месяцев, – пишет Махно, – затем после двухдневного путешествия прибыли в московскую тюрьму. Начальник отделения каторжников, некий Дружинин, полистал мое дело, пристально посмотрел на меня своими пронзительными глазами и прошептал: „Здесь ты не будешь больше забавляться побегами“. С нас сняли наручники с замками и заковали в наручники на заклепках, которые каторжники должны были носить на протяжении первых восьми лет заключения. После этой маленькой церемонии нас посадили на неделю в камеры на карантин, как этого требовали правила для вновь прибывших. Мы познакомились со старостой политзаключенных, эсером Веденяпиным. После болезни он находился на карантине, прежде чем вернуться в свою камеру. Он нас ввел в курс распорядка жизни в тюрьме, познакомил с другими политическими заключенными, раздобыл для нас табака, сала, хлеба и колбасы, того, чего нам не хватало после поста в дороге...

После окончания карантина меня поселили в камеру № 4 седьмого коридора. В камерах держали по два-три человека, но нас, украинцев, отделили друг от друга, поскольку мы считались бунтовщиками. Я оказался в одной камере с эсером Иосифом Альдиром, литовским евреем из Ковно. Наши темпераменты отлично совпадали, и мы оставались вместе, как братья, вплоть до самой революции. Из окна камеры я мог хорошо рассмотреть все здание тюрьмы. Она занимала целый квартал, посередине находился широкий двор, вокруг него четыре больших корпуса, окруженные в свою очередь вторым двором. Вся территория была ограждена очень высокой стеной с башнями на каждом углу, знаменитыми тем, что в них в свое время сидели Пугачев, затем Гершуни (первый руководитель боевой организации эсеров) и много других, среди которых были толстовцы, подвергавшиеся издевательствам за то, что они отказывались брать в руки оружие во время войны с Японией в 1904–1905. Во внутреннем дворе росли деревья, главным образом липы. В тюрьме тогда находилось 3000 заключенных и несколько сот двуногих псов – охранников. Для узников, содержащихся на карцерном режиме, было предназначено отдельное здание.

В Бутырки я прибыл 2 августа 1911 года. В это время режим там стал менее жестоким, чем раньше. Когда-то, по рассказам товарищей, это был настоящий кошмар: запрещалось ходить по камере, узников били кулаками или кнутом. Устроившись в камере, я сразу же посвятил свое время чтению. Я глотал книгу за книгой; прочел всех русских классиков от Сумарокова до Льва Шестова, в особенности Белинского и Лермонтова, от которых я был в

восторге. Эти книги появились в тюрьме благодаря долгой веренице политзаключенных, которые создали таким образом замечательную библиотеку, значительно более богатую, чем во многих наших провинциальных городах. В особенности, я изучал русскую историю по курсу Ключевского. Я познакомился также с программами социалистических партий и даже с отчетами их подпольных съездов. Позже мне в руки попала книга Кропоткина „Взаимная помощь“. Я проглотил ее и постоянно держал при себе, чтобы обсуждать с товарищами.

Я следил по мере возможного за событиями на свободе. Так, с большим волнением я узнал о заявлении министра внутренних дел Макарова по поводу кровавого расстрела на Ленских золотых приисках: „Так есть и так будет всегда“. Это повергло меня в глубокую депрессию. Убийство Столыпина 2 сентября 1911 года, напротив, вернуло мне боевой дух.

Увы! Мой страстный порыв к образованию был вскоре прерван продолжительной и тяжелой болезнью – воспалением легких, из-за которого я попал в больницу. Вначале мне поставили диагноз мокрый плеврит, затем, три месяца спустя, туберкулез легких. Это было очень серьезно, и я пролежал в больнице восемь месяцев. Подлечившись, я вновь с пылом взялся за изучение своих любимых дисциплин: истории, географии и математики.

Вскоре я познакомился с товарищем Аршиновым, о котором много слышал раньше. Эта встреча стала для меня большой радостью. В тюрьме он был одним из тех редких анархистов, которые отдавали предпочтение практике. Даже в тюрьме он оставался очень активным, и, сохраняя связи с внешним миром, он перегруппировывал и организовывал заключенных. По каждому поводу я надоедал ему записками. Проявляя большую сдержанность, он всегда шел мне навстречу, мы оставались в тесных отношениях до выхода из тюрьмы, а затем эти отношения стали еще более прочными...» (50, 49–50).

Петр Андреевич Аршинов был всего года на два старше Махно, но опыт в революции имел куда более солидный. В прошлом рабочий, слесарь, он упорно занимался самообразованием, пережил увлечение марксизмом и даже состоял в большевистской организации. Но с 1905 года он окончательно самоопределился как анархист и террорист и целиком отдался новому призванию. В конце 1906 года он с несколькими товарищами взорвал полицейский участок в пригороде Екатеринослава. В марте 1907-го пытался застрелить начальника главных железнодорожных мастерских Александровска Василенко. «Вина последнего перед рабочим классом, – читаем в предисловии Волина к „Истории махновского движения“, – состояла в том, что он отдал под военный суд за Александровское вооруженное восстание в декабре 1905 г. свыше 100 человек рабочих, из которых многие, на основании показаний Василенко, были осуждены на казнь или на долгосрочную каторгу... На этом акте Аршинов был схвачен полицией, жестоко избит и через два дня, в порядке военно-полевого суда, приговорен к казни через повешение» (2,13). Заминка с исполнением приговора позволила Аршинову бежать из александровской тюрьмы во время пасхальной заутрени. Он пробрался за

границу, жил во Франции, но через два года вернулся в Россию нелегалом. В 1910 году австрийцы взяли его с транспортом литературы и оружия, выдали русским властям. На этот раз приговор был – 20 лет каторги. Он отбывал срок в Бутырках, где узнал о Махно, с которым скоро сдружился, переговариваясь с ним по тюремному «телеграфу» и при помощи записок.

По-видимому, своими познаниями в анархистской теории в ее классическом, бакунинско-кропоткинском ключе Махно в основном обязан Аршинову. Во всяком случае, он твердо уверовал в созидательные возможности народного бунта и совсем не принял новейший европейский синдикализм с его тактикой стачечной борьбы и курсом на «профсоюзный коммунизм», считая его чем-то вроде меньшевизма в анархистском движении. Жизнь в Бутырках описана Махно в «Биографии» настолько подробно, что нет необходимости детально излагать ее здесь. «Бутырки» стали его университетом. Здесь Махно провел почти шесть лет. Здесь он перестал быть обычным деревенским «огнепускателем», едва умеющим читать и писать. Здесь впервые сочинил стихотворение «Призыв», пронизанное жаждой кровавого мщения, – которое напечатал потом в астраханской газете «Мысли самых свободных людей» под каторжным псевдонимом «Скромный». Здесь впервые испробовал себя в спорах с социалистами самых разных направлений. Когда началась Первая мировая и большинство эсеров и социал-демократов «приняли» войну, встав в этом вопросе на одну точку зрения с царским кабинетом министров, Махно разразился листовкой, в заглавии которой с присущей ему страстью вопрошал: «Товарищи, когда же вы, наконец, перестанете быть подлецами?» – из-за чего у него вышел крупный конфликт с одним из видных эсеров (56, 2). Однако, несмотря даже на политические споры, жизнь в тюрьме не отличалась разнообразием. Когда Махно арестовали, ему было девятнадцать лет. В Бутырской тюрьме ему сравнялось двадцать восемь – в этих стенах могло пройти еще столько же лет, и для мира ничего не изменилось бы. Каким-то образом он не впадал в отчаяние, не терял голову, продолжая занятия самообразованием, с особым усердием штудирова любимые науки – историю, географию, математику.

Многих удивит, что Махно писал и стихи, в том числе лирические. Писал по-русски, но были в них и украинские слова, и украинская степная тоска по воле. Кто-то из соседей по камере записал одно из них:

“ Гей, батька мой, степь широкая!
А поговорю я еще с тобою...
Ведь молодые ж мои бедные года
Да ушли за водою...
Ой, вы звезды, звезды ясные,
Уже и красота мне ваша совсем немила...
Ведь на темные мои кудри да пороша
Белая легла.
Ой, ночи черные да безглазые!
И не видно мне, куда иду...
Еще с малых лет я одинокий.
Да таким и пропаду.

Где ж вы, братья мои милые?
Никто слез горьких мне не вытер...
И вот стою я, словно тот дуб,
А вокруг только тучи да ветер...[6]

Позже Махно тоже писал стихи, но это были трескучие рифмованные агитки, лишенные всякого поэтического чувства. Быть может, именно в Бутырке пережил он последний момент, когда это чувство можно было удержать, претворить в нечто созидающее. Но слишком мрачным был тюремный быт, слишком глубока тоска, слишком беспросветна копившаяся годами ненависть.

Все изменилось в один миг. Свобода обрушилась на него так же неожиданно, как когда-то арест. Наступил 1917 год.

“«1 марта, часов в 8–9 вечера нас начали освобождать, – пишет Махно в своих „Записках“. – Об этом освобождении никто из заключенных ничего не знал. Все знали и видели, что по одному, по два человека из отдельных камер куда-то зачем-то вызывают, а обратно не приводят. Нам не говорили, куда и зачем уводили этих людей, и это для нас было загадкой. Загадка эта нас всех мучила и беспокоила. Мы терялись в догадках и начинали нервничать.

Помню, было около часа ночи. Из 25 человек в камере осталось только 12; остальные были куда-то уведены. Несмотря на столь поздний для тюрьмы час, мы, оставшиеся еще в камере, нервничая, мучаясь неизвестностью, спать и не собирались ложиться. Наконец – свисток. Проверка. К нам в камеру заходит дежурный помощник начальника тюрьмы и с ним какой-то не известный нам военный. Дрожащим от волнения голосом спрашиваю: „Господин помощник, будьте добры, объясните нам, куда и зачем увели наших товарищей?“

Услышав мой вопрос, помощник быстро произнес: „Успокойтесь и не волнуйтесь. Нашей стране дал Бог переворот, объявлена свобода, к которой примкнул и я. Кто имеет 102 статью (статья о принадлежности к политическим партиям), тот завтра обязательно будет освобожден. Сейчас комиссия по освобождению устала и поехала отдохнуть“. Сказав это, он вежливо раскланялся с нами, чего раньше никогда не делал, и вышел из камеры. Многие из нас от радости подпрыгнули чуть ли не до самого потолка. Другие, со злобой, посылая проклятия по адресу комиссии по освобождению политических, заплакали.

Когда я спросил их: „О чем вы плачете“, то мне ответили: „Мы десятками лет томимся по застенкам тюрем и не устали, а они (комиссия) там на воле

поработали всего только несколько часов и уже устали. А вдруг восторжествует снова контрреволюция, и мы остались опять на долгие годы в этих гнусных застенках"... Эти слова многих из нас натолкнули на разные мысли, и на час-другой каждый из нас погрузился в уныние... Сколько тревог, надежд и волнений уместилось в наших душах...» (55, 21–22).

Далее он продолжает: «Рассвет... Спать в эту ночь никто из нас не ложился. Каждый погрузился в самого себя и с нетерпением ожидал утра, а с ним и обещанного освобождения. Какой бесконечно желанной, прекрасной и дорогой нам, бессрочникам, казалась в эти минуты свобода. И, не получив еще ее, как мы волновались, как трепетали наши сердца в тревоге, в страхе, что у нас ее, свободу, или вернее – мечту о ней, отымут.

Время шло страшно медленно, и часы казались вечностью.

Наконец-то среди мертвой тишины камеры послышался шум говора со двора и раздался выстрел. Окно нашей камеры выходило на широкий двор тюрьмы с церковью и с большой площадью впереди нее. Услышав шум и выстрел, мы все моментально ринулись к окну. Видим, вся площадь тюремного двора заполнена солдатами в форме конвойной команды. То и были конвойные, которые кричали: „Товарищи заключенные, выходите все на свободу. Свобода для всех дана!“

Из окон тюремных камер послышалось: „Камеры заперты“.

„Ломайте двери!“ – все, как один, крикнули конвоиры.

И мы, не долго думая, сняли со стола полуторавершковую крышку и, раскачав ее на руках, сильно ударили ею по двери. Дверь открылась. С шумом, с криком выбежали мы в коридор и направились было к другим камерам, чтобы посоветовать, как открыть дверь, но там без совета проделали то же, что и мы, и все уже были на дворе...

Тогда мы поспешили все к воротам, ведущим на одну из улиц Москвы. Там были уже тысячи каторжан, и каждый из них спешил первым выйти на улицу. На Долгоруковской улице по дороге к городской думе всех нас выстроили по четыре человека в ряд, для регистрации, как пояснили нам. Вдруг видим – летят от городской думы военные и гражданские и с возмущением в голосе кричат конвоирам: „Что вы наделали... Обрато в тюрьму!.. Освобождение будет производиться по порядку“.

И нас моментально охватили войска и загнали обратно в тюрьму.

Среди криков и проклятий моих товарищей по адресу и властей, и комиссии по освобождению просидел я еще часов 5–6.

Наконец заходит какой-то офицер в чине поручика с какими-то бумагами в руках и кричит: „Кто такой Махно?“ Я откликнулся.

Он подошел ко мне, поздравил со свободой и попросил следовать за ним. Я пошел. Товарищи бросились за мной вдогонку, плачут, бросаются на шею, целуют. – Не забудь напомнить о нас...

По дороге этот офицер многих еще вызывал, и, следуя за ним, мы пришли в привратницкую. Здесь на наковальне солдаты разбили наши ножные и ручные кандалы, после чего нас попросили зайти в тюремную контору. Здесь заседала комиссия по освобождению. Она сообщила нам, кто из нас по какой статье освобождается, и поздравили со свободой. Отсюда уже без провожатых мы сами свободно вышли на улицу. Здесь нас встречали толпы народа, которые также приветствовали нас со свободой. Зарегистрировавшись в городской думе, мы отправились в госпиталь, где для нас были отведены помещения...» (55, 23).

Знакомых в древней столице у него не было. С неделю, пьяный от весны и от свободы, шатался Махно по бурлящей Москве, но, так и не найдя себе в ней ни места, ни дела, оставил Аршинова и двинул на юг, в родное Гуляй-Поле. Он вообще не любил городов и не понимал их.

Версия #3

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 2 апреля 2025 11:09:43

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 16 декабря 2025 15:37:45